
Игорь Ничипорчук
Поминальная медь

Игорь Ничипорчук
Поминальная медь

https://litres.ru/74982522
SelfPub; 2026

Аннотация

В Сухом Броде трое живых не помнят своих мёртвых. С плит и из приходских тетрадей кто-то выскабливает имена, и платит за эту чистку корона. Эймерик, рыцарь-дознаватель инквизиции, знает цену забытому имени. В одиннадцать лет он сказал лишнее слово, и его отца-переписчика сожгли; перед смертью отец взял с него слово вернуть ему имя. В Державе Рассвета человека держит не тело, а имя в двух тетрадях. Сотри все копии, и он не умрёт: его перестанут узнавать, забудут лицо, родня не скажет, кем он ей приходился. Дорога к списку идёт через порты Братства Тени и пустоши Пекла. За каждый шаг Эймерик отдаёт годы детства, лицо матери, имя первой любви, и всё меньше помнит, зачем идёт. Следом идёт наставник Годфрид: он ждал двадцать три года, когда ученик найдёт главное. На границе живых лежит Поминальная медь, свод всех имён мира. Эймерику придётся выбрать: одно имя, чужое имя, весь список или ничего. Героическое средневековое фэнтези от первого лица. Первая книга цикла.

Содержание

Поминальная тетрадь	4
Стол имён	14
Человек, который помнит	23
Соляная Гавань	32
Год в скриптории	46
Вне списков	59
Пепельная дорога	75
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Игорь Ничипорчук
Поминальная медь

Поминальная тетрадь

До Сухого Брода мы доехали к полудню. Дорога шла полем, снег на ней почернел и лежал пластами, как содранная шкура. Копыта проваливались. Лошади шли вязко, и пар от них шёл низко, стелился по насту.

Стрелки молчали всю дорогу. Тот, что постарше, держал копьё поперёк седла и постоянно поправлял ремень. Молодой жевал хлеб и вытирал руки о штаны. От него пахло салом и мокрой шерстью.

— У околицы стоять, — сказал я, когда показались крыши. — Никого не пускать и не выпускать дотемна.

Молодой кивнул с набитым ртом. Старший посмотрел на небо, потом на меня.

— Дотемна это сколько, господин?

— Пока не выйду.

Сухой Брод был небольшой: двенадцать дворов, колодец с воротом, часовня без колокола. Собаки на нас не лаяли, и это мне не понравилось больше всего остального. Дым шёл только из двух труб.

Староста вышел сам, в тулупе и с непокрытой головой, хо-

тя мороз держал. Поклонился низко, руки спрятал в рукава.

— Милостью Державы, — сказал я и достал грамоту. — По доносу из прихода. У вас трое живых не помнят своих мёртвых. Так написано.

— Всё в порядке, господин. — Он смотрел мне в подбородок. — Люди живут, скотина цела.

— В доносе написано иное.

— Баба от горя путается. — Староста вздохнул. — Ходит, спрашивает. Мы ей говорим, а она не слышит.

В избе было жарко и кисло. Пахло мокрой овчиной, хлебом и дымом. У печи сидела женщина лет сорока, в тёмном платке.

— Ирма, — сказал староста. — С господином поговори.

Она поправила платок и села на лавку напротив. Лицо спокойное, глаза ясные. Такие глаза у людей, которые ночью не спят уже месяц.

Я разложил книгу, поставил чернильницу и подышал на перо. Чернила в дороге загустели, пришлось разбавить. Стрелки остались на дворе, в избе стало слышно, как в печи трещит смола.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Ирма.

— Хорошо, Ирма. Расскажи мне про свой дом.

Она рассказала. Гладко, по порядку, как рассказывают дорогу человеку, который поедет следом: две коровы, овцы, за домом огород, до реки полверсты, зимой реку переходят по

льду у затона. У старшего сына родинка под левым глазом, у младшей девочки кашель с осени. Я записывал. Перо скрипело, в избе пахло чернилами, и от этого запаха у меня во рту стало сухо.

— Кто ещё с тобой живёт? — спросил я, не поднимая головы.

— Дети.

— И всё?

Она помолчала. Я поднял глаза. Она смотрела не на меня, а на стену, где на гвозде висела мужская рубаха и под ней стояли сапоги, большие, заскорузлые от грязи.

— Был муж, — сказала она.

— Как его звали?

Тишина. Она хмурилась, и было видно, как она ищет: не играет, не жалуется, просто ищет в комнате, на полке, на печи, под лавкой.

— Не помню, — сказала она наконец.

— Ирма. Как звали твоего мужа?

— Не было, — ответила она спокойно. — Дети есть. Мужа не было.

Я посмотрел на её левую руку. Обручальное кольцо она сняла, а след остался: полоска чистой кожи на смуглом пальце, будто кольцо никогда не снимали. Посмотрел на сапоги.

— А это чьё?

Она повернула голову к сапогам. И удивилась. Как удивляются вещи, увиденной впервые.

— Не знаю, — сказала она. — Висят.

Староста за моей спиной переступил с ноги на ногу и скрипнул половицей. Я записал: имя мужа не помнит, вещи в доме признаёт чужими, на вопрос отвечает ровно. Потом закрыл книгу и подул на пальцы, потому что чернильница стыла, а мне ещё было писать про двоих.

Гладко у неё всё было. Дом, скотина, дети, дорога к затону.

Второго звали Кунц. Он вошёл боком и сел на край лавки, будто она могла его укусить. Руки у него были в старых ожогах, на указательном не хватало половины ногтя.

— Ремесло? — спросил я.

— Кузнец.

— Хорошо. Кто живёт в твоём доме?

— Я. И сын.

— Сколько сыну лет?

— Четырнадцать. — Он ответил сразу, не думая. — Работает со мной. Молот держит плохо, но держит.

Я записывал. Кунц сидел прямо, смотрел на чернильницу и на мою руку, и я знал, что он считает, сколько ещё вопросов осталось.

— Кто умер у тебя в этом году?

Он подумал. По-настоящему подумал, как думают над счётом.

— Никто.

— Кунц. Кто-нибудь в твоём доме умер между жатвой и

Рождеством?

— Не было. — Он сказал это так же, как Ирма, тем же ровным голосом. — Живём вдвоём с сыном.

Я закрыл книгу на пальце.

— В твоём доме две кровати?

— Две.

— Вторая чья?

— От отца осталась. Стоит.

— На ней этой осенью кто-нибудь спал?

Кунц нахмурился и стал смотреть в стол, будто там лежал ответ.

— Никто, — сказал он. — На ней не спят.

Староста у меня за спиной кашлянул в кулак. Я не обернулся.

Третьего звали Тиль. Он вошёл, когда уже стемнело, и в сенях задел шапкой притолоку. Парень был молодой, лет двадцати, и у него дрожали руки, поэтому он спрятал их за спину.

— Тиль, — сказал я. — Садись.

Он сел, и на лавке сразу стало тесно: колени у него были как у жеребёнка, длинные, и девать их было некуда.

— Кто живёт в твоём доме?

— Мать. И сестра.

— А отец?

Я задал этот вопрос уже третий раз за вечер и знал, что услышу.

— Не было отца, — сказал Тиль и посмотрел мне в лицо. — Мать говорит, не было.

— Мать говорит?

— Говорит, мы вдвоём её вырастили. То есть она нас. — Он запутался и замолчал.

Я записал и посмотрел на то, что записал. Трое. Ирма, Кунц, Тиль. Все трое не помнили близкого и все говорили одно и то же: не «забыл», не «вылетело из головы», а «не было». И все трое не замечали, что это странно, пока их не спросишь прямо, а спросишь, и они удивляются: не своему провалу, а мне.

— Староста, — сказал я. — Приходская тетрадь.

Он стоял у печи и грел руки, хотя изба и так была натоплена.

— Тетрадь у отца Ансельма, господин.

— Так принеси.

— Я бы принёс. — Староста развёл руками. — Он её не отдаёт. И не выходит.

— Заболел?

— Не то чтобы заболел. — Староста смотрел куда-то мне за плечо. — Он с осени не выходит. Еду ему носят, воду носят. Он берёт.

— С осени, — сказал я. — Кто умер у вас осенью?

Печь щёлкнула. Староста молчал, и молчал он так, как молчат люди, которые уже решили, что скажут, но ещё не решили, когда.

— Скажи мне, что с ним, — сказал я. — Иначе я пойду сам и не один.

Староста посмотрел на дверь, потом на меня.

— Он не помнит, кто он, — сказал староста тихо. — Зовёт себя чужим именем. Мы его не поправляем.

Тиль на лавке втянул голову в плечи. Кунц сжал и разжал кулак, будто ему стало нечем занять руки.

На кладбище я пошёл один. Стрелкам велел остаться у околицы: если кто-то побежит из деревни, мне об этом скажут.

За огородами снег лежал ровно, и тропинка к крестам была протоптана. Я шёл по ней и слышал, как под сапогами скрипит и лопается наст. Мороз к вечеру взялся крепче, дыхание оседало на шерстяном воротнике и таяло.

Кладбище было маленькое, с часовней в дальнем конце. Кресты стояли криво, меж ними торчали плиты, которые кладут только богатым: тесаный камень, буквы по краю. Я насчитал девять могил и две свежие, осенние, с осевшими холмами.

У третьей от часовни я остановился. Плита лежала на двух камнях, на ней было выбито две строки. Верхняя читалась: «Здесь лежит». На нижней было выскоблено имя, и целым осталось одно слово посередине: «сын». Камень в этом месте светлее, чем вокруг, и шершавый, будто по нему тёрли чем-то острым и долго.

Я присел и снял перчатку. На снегу у самого края плиты

лежала каменная крошка, мелкая, как крупа. Я взял щепоть. Крошка была сухая, и ветер её не разнёс. Значит, скоблили недавно.

— Ты кто? — сказали у меня за спиной.

Я встал и обернулся не спеша, перчатку надел так же медленно. У часовни стоял Тиль с лампадой в руке. Масло в ней было налито до половины, фитиль горел спокойно, и в этом свете лицо у парня было совсем детское.

— Я тебя допрашивал час назад, — сказал я. — Ты сказал, что отца не было.

— Мать говорит, не было, — ответил он тихо.

— А лампаду куда несёшь?

Он молчал. Я посмотрел туда, куда он шёл, и увидел вторую свежую могилу, в двух шагах от первой. На ней тоже стояла плита, и на плите тоже было выскоблено нижнее слово.

— Кто скоблил? — спросил я.

— Не я.

— Я не спрашиваю, кто ты. Я спрашиваю, кто скоблил.

Тиль перехватил лампаду другой рукой. Масло в ней качнулось.

— Приезжий, — сказал он. — Осенью приезжал. В чёрном, с сумкой. Он всех согнал сюда и велел. Староста тоже был.

— Что велел?

— Соскоблить, — сказал Тиль. — Сказал: кто помнит, тому хуже. И записал, кто помнит.

— А ты помнишь?

Он посмотрел на могилу, потом на лампаду, потом опять на могилу. И я услышал, как он дышит через нос, коротко и часто.

— Я хожу сюда, — сказал он наконец. — Каждый вечер. Мать говорит, что я просто так хожу.

— А на печати у него что было?

— Что?

— У приезжего. Печать на грамоте. Что на ней было?

Тиль нахмурился и вспоминал так, как вспоминают редкое слово из чужого языка.

— Круг, — сказал он. — В круге ничего. Просто круг, и всё.

Я не стал переспрашивать. У инквизиции печать с мечом и солнцем, у прихода ключи накрест, и это знает любой, кто хоть раз держал такую грамоту. Просто круг не ставит никто из наших. Я не знал, кто ставит, и от этого у меня заныло под ложечкой, как бывает перед долгой дорогой.

— Поставь лампаду, — сказал я. — И иди домой.

Он поставил её прямо на плиту, на выскобленное место, и огонёк в стекле сразу стал жёлтым, осветив камень. Парень ушёл, оставляя валенками широкие следы, и я слышал, как хрустит наст, пока он не скрылся за баней.

Я стоял над двумя могилами и смотрел на крошку, которая не разлетелась. Мне полагалось в такие минуты думать о ереси, о Сонме, о людях, которые молчат, когда их спраши-

вают, и о том, что запишу в книгу. Я подумал о другом: что дознание я закончил, что до оттепели два дня, что в столицу я вернусь к концу недели, отдам грамоту, забуду Сухой Брод до следующей зимы и никому не расскажу про круг без ничего.

Я надел перчатку на другую руку и пошёл к околице, где ждали стрелки. За спиной, на плите, горела лампада, и ничего не мешало ей гореть.

Стол имён

Дом отца Ансельма стоял за гумном, у самой околицы. Крыша просела, из трубы не шло дыма. Стрелкам я велел стать у крыльца: один у двери, второй у угла, чтобы видел двор.

Внутри было холоднее, чем на улице. Печь стояла нетопленая, в ней лежала зола и обгорелое полено, которое никто не подкладывал. На столе стояли чашка с застывшим жиром, краюха хлеба, чернильница, в которой чернила высохли до дна, и свеча, оплывшая до стола.

Старик сидел у окна в шерстяном колпаке и тулупе, накинутом поверх рубахи. На коленях у него лежала тетрадь в кожаном переплёте, и он держал её обеими руками, как держат кошку.

— Отец Ансельм? — спросил я.

Он поднял голову. Лицо было чистое, глаза ясные, и смотрел он прямо на меня.

— Мартин, — сказал он.

— Тебя зовут Ансельм. Ты приходский жрец в Сухом Броде.

— Меня зовут Мартин, — повторил он спокойно, будто поправлял меня по доброте.

Я достал грамоту и развернул её. Печать была на месте, меч и солнце, и старик посмотрел на неё без всякого страха,

как смотрят на птицу за окном.

— Мне нужна приходская тетрадь, — сказал я. — За этим я и пришёл.

— Она моя.

— Она прихода. И она мне нужна.

Он прижал тетрадь к груди. Руки у него были сухие, в коричневых пятнах, и на левой не хватало пальцев.

Я мог взять её силой. Со мной были двое, и грамота давала право не только на тетрадь. Но старик не прятал её, не убегал и не запирался, и от этого брать было противно.

— Хорошо, — сказал я. — Покажи мне записи.

Он посмотрел на меня, потом на тетрадь.

— Записи?

— Ты вёл их много лет. Я хочу посмотреть, как ты пишешь.

Старик ожил. Он положил тетрадь на стол, вытер ладонью место перед собой, будто смахивал крошки, и раскрыл её на середине.

— Вот, — сказал он с удовольствием. — Тут всё. Кто родился, кто умер, кто в какой год. Я аккуратно.

Я пододвинул табурет и сел рядом. Он листал страницы и говорил, а я смотрел на бумагу.

Почерк был ровный, мелкий, с сильным нажимом, буквы стояли как солдаты. Так пишут много лет подряд и уже не думают о том, как пишут. Я листал назад, к лету, к весне, и почерк не менялся. А потом, страниц за двадцать до конца,

он кончился.

Дальше шла другая рука. Крупнее, быстрее, с наклоном вправо, и перо останавливалось реже. Эта рука писала увереннее, чем старик, и в ней была своя привычка: она не доводила последнюю букву в имени, обрывала её на половине.

— Тут я записал жатву.

— Кто это писал?

— Я.

— Смотри. — Я положил ладонь на страницу. — Вот эта рука и вот эта. Они разные. Это писали двое.

Старик наклонился к тетради и долго смотрел, водя пальцем по строкам.

— Я устаю к вечеру, — сказал он наконец. — К вечеру у меня дрожит рука.

Дрожащая рука не выводит таких петель. Но спорить с ним было не о чем: он не помнил, что с ним случилось, и я видел это так же ясно, как почерк.

— Кто приходил к тебе осенью? — спросил я.

— Никто не приходил. — Он снова прижал тетрадь к груди. — Мне носят еду. Я не выхожу.

— А кто вёл записи с осени?

Он задумался. Я ждал. В доме было тихо, и слышно было, как за дверью переступает с ноги на ногу стрелок, как скрипит снег под его сапогом.

— Ты, — сказал старик.

Я не сразу нашёлся.

— Я?

— Ты. — Он кивнул, будто напоминал мне о том, что я сам забыл. — Ты приходишь и пишешь. Я тебе показываю, где.

Я встал и подошёл к окну. За окном был двор, стрелок у угла поднял голову, посмотрел на меня и снова отвернулся. В стёклах мутный лёд, и в нём я не видел ничего, кроме собственного отражения в сером плаще.

— Отдай мне тетрадь, — сказал я.

— Это моя тетрадь.

— Я верну.

Он смотрел на меня долго. Потом встал, положил тетрадь на стол и подтолкнул её ко мне.

— Возьми, — сказал он. — Ты же за ней ходишь.

Я взял. Переплёт был холодный, на углу стёрт до дерева. Я сунул тетрадь за пазуху, под плащ, и кивнул старику, не зная, зачем.

На крыльце стрелок спросил:

— Ну что, господин?

— В город, — сказал я. — В Стол имён.

Я шёл через двор и думал о почерке с осени. Он был ровный и быстрый, и последние буквы в именах он обрывал на половине. Я знал эту привычку. Мои собственные дознавательские книги были исписаны так же.

В Хольм мы въехали к вечеру. Город был уездный: две улицы, ратуша с часами, которых никто не заводил, и кан-

целярия на площади, в каменном доме с толстыми стенами. Внутри пахло сыростью, воском и мокрой бумагой.

Стол имён помещался на первом этаже, за дверью с железной решёткой. За двумя столами сидели писцы и переписывали что-то из книги в книгу. Над ними висела лампа. От неё шёл жёлтый свет, в котором лица были как у мертвецов.

Столоначальник поднялся мне навстречу. Сухой человек в чёрной мантии, с чернилами на среднем пальце.

— Кребс, — сказал он. — Чем могу?

— Мне нужна копия приходской тетради Сухого Брода.

— Копия выдаётся по приказу.

— Вот приказ. — Я положил грамоту и развернул её печатью к нему.

Кребс посмотрел на печать, потом на меня, потом опять на печать.

— Грамота даёт вам право дознания, — сказал он. — На копии нужен приказ канцелярии.

— Так напиши приказ.

— Я не имею права.

— Кто имеет?

— Начальник стола. Его нет до вторника.

Я обернулся. Писцы не поднимали головы, но перья у них остановились, и это было слышно лучше любого взгляда.

— Хорошо, — сказал я. — Тогда я забираю копию как улику по делу короны и оставляю расписку.

Кребс пожевал губами.

— По делу короны, — повторил он. — А дело есть?

— Дело есть. Трое живых и трое мёртвых.

Он ничего не ответил, но подошёл к полке, снял с цепи книгу, полистал и вынес мне тонкую тетрадь в серой обложке.

— Расписку напишете сами, — сказал он. — Чернила там.

Я сел за свободный стол, написал расписку и поставил число. Кребс прочитал её дважды, потом убрал в ящик и запер на ключ.

— Господин, — сказал он, когда я уже взялся за дверь. — За этой тетрадью уже приходили.

Я остановился.

— Когда?

— Осенью. — Он смотрел в сторону, на писцов. — Тоже требовал копию. Я не дал, у него приказа не было.

— Кто они были?

— Один человек. В чёрном, с сумкой. — Кребс помолчал. — Он сказал, что приедет ещё.

— Как он назвался?

— Никак. — Столоначальник поднял на меня глаза. — Сказал, что из Конклава, но печать показал не конклавскую.

Я ждал.

— Круг, — сказал Кребс. — На печати был круг, и в круге ничего.

Мы посмотрели друг на друга.

— Вы не из Конклава? — спросил он.

— Нет.

— Странно, — сказал он. — Те тоже так говорили.

На постоялом дворе я снял комнату наверху, запер дверь на засов и засветил две свечи: одну на столе, другую на подоконнике, чтобы хватило света. Тетрадь отца Ансельма я положил слева, копию из Стола имён справа. Между ними лежали перо и лист, на котором я собирался считать.

Сначала я просто листал. Приходская тетрадь была толще, копия — тоньше, писана в две руки и с сокращениями: писцы Стола не переписывали всё, а выбирали, что им велено. Имена рождённых стояли в копии почти все. Имена мёртвых — не все.

Первое вымаранное имя я нашёл на третьей странице. Оно было не зачёркнуто и не залито, а выскоблено, и на его месте осталось светлое пятно, будто бумагу тёрли хлебом. Я поднёс свечу ближе. Под пятном ещё читались верхушки букв, но их было мало.

Я взял лист и стал считать.

К полуночи свеча на подоконнике догорела, и я зажёг третью. На моём листе стояла тридцать одна палочка. Тридцать одно имя за два года, выскобленное из приходской тетради, и все они были из списка мёртвых.

Я проверил дважды, потом третий раз, водя пальцем по строкам. Так было.

Потом я стал смотреть на поля.

У каждого выскобленного имени, на поле, стоял знак, ко-

торого не было в приходской тетради. Маленький, с ноготь, кружок, выведенный той же второй рукой, что вела записи с осени. Кружок был пустой. Не печать, не подпись, просто круг, и внутри ничего.

Я отложил перо и посидел, глядя на этот кружок. В Сухом Броде приезжий показывал старосте печать с кругом. В Хольме он показывал её Кребсу. Здесь он оставлял её на полях книги, как ставят метку на мешке.

И только потом я дошёл до отца.

Его имя стояло в списке мёртвых за тот год, когда я был мальчиком. В приходской тетради оно было написано ровно, тем же нажимом, что и всё остальное: «Дитрих, переписчик, сын Хальдора, сожжён за ересь». Я знал эту строку наизусть, как знают молитву.

В копии эта строка была выскоблена до пятна. А поверх пятна, поперёк, второй раз прошлись пером: имя было вписано заново, другими чернилами, и снова выскоблено. Второе пятно лежало на первом, и бумага в этом месте протёрлась до дырки.

Кто-то вернул отца в списки. И кто-то стёр его снова.

Я откинулся на спинку стула и стал смотреть в потолок. Внизу храпели, за стеной кто-то ворочался, за окном шёл снег и ложился на подоконник, ровно и беззвучно.

До этой ночи я вёл дело об ереси. Тридцать один человек, выскобленные имена, приезжий с печатью без ничего, жрец, который не помнит, как его зовут. Всё это можно было объ-

яснить Сонмом, дурманом, крестьянской темнотой, и я почти объяснил.

Но в приходскую тетрадь не заглядывает никто, кроме жреца и канцелярии. Копию из Стола имён не выдаёт никто, кроме канцелярии. Выскоблить имя можно в приходе, но чтобы человек выпал из мира, надо выскоблить его везде, во всех копиях сразу, а копии лежат в Столе имён, под ключом, за решёткой. Такой человек не умирает: он живёт, ходит, говорит, и его почти не слышат.

Значит, скоблили в канцелярии. Значит, приказ был из короны.

Я сидел над тетрадями до третьих петухов. Одна свеча оплыла и погасла сама. Тогда я достал свою дознавательскую книгу — ту, где писал приговоры, — и положил её рядом с копией, чтобы посмотреть на почерк с осени ещё раз. Мне это было нужно, как человеку нужно потрогать больное место.

Последние буквы в именах обрывались на половине. Наклон вправо. Перо останавливалось редко.

Я знал эту руку. Она была моя.

Человек, который помнит

В столицу мы въехали на четвёртый день, к утру. На воротах сидели вороны, у стражников шёл пар от дыхания, и пахло дымом, хлебом и лошадьми. Тетрадь я держал за пазухой, копию из Стола имён — в сумке на ремне, руку на сумке не держал, чтобы не бросалось в глаза.

Дом инквизиции стоял у реки, за глухой стеной. Стрелки остались на дворе, у коновязи. Меня провели в приёмную, велели отдать нож и ждать.

Приёмная была длинная и холодная. Вдоль стен стояли каменные скамьи, на них сидели четверо и молчали, и я сел пятым. В углу топилась жаровня, и от неё шёл тяжёлый дух мокрого угля.

Я думал, что ждать придётся недолго. У меня была бумага на дознание, две тетради и тридцать одно имя, и я знал, что скажу: скоблили не в приходе, скоблили в канцелярии, приказ из короны, а приезжий с кругом на печати ходит по деревням и собирает свидетелей.

Первый час я просидел не двигаясь. Потом начал считать плиты на полу.

Часа через два ко мне подошёл служка с оловянной кружкой.

— Велели дать, — сказал он. — Горячего.

Вино было с корицей, и я выпил его до дна, потому что с

дороги меня знобило.

К третьему часу я перестал считать и стал слушать. В приёмной все молчали, но за перегородкой, где сидели писцы, шла работа: перья скрипели, кто-то перелистывал бумаги, кто-то диктовал вполголоса, и в этом было больше правды, чем во всём, что мне говорили вслух.

Я встал и подошёл к перегородке.

Писцов было двое. Один, молодой, сводил в столбцы чьи-то показания. Второй, старый, переписывал набело бумагу, и я успел прочесть снизу вверх, как читают чужую руку: «… Сухой Брод… Хольм… приходская тетрадь…».

Он писал о Хольме. О моей копии, которую я взял под расписку в Хольме, за триста вёрст отсюда.

— Кто велел? — спросил я.

Старый писец поднял на меня глаза. Они были у него красные, как у человека, который всю ночь писал.

— Вам назовут, — сказал он и накрыл бумагу рукавом.

— Я привёз из Хольма тетради.

— Мне об этом не говорили. — Он снова взялся за перо. — Сядьте, вас позовут.

Я сел. Теперь я ждал уже иначе: не как человек, который ждёт, а как человек, который смотрит. Выписка о Хольме была написана раньше, чем я сюда вошёл. Значит, кто-то в столице знал о Сухом Броде не меньше моего, и знал вовремя.

Ещё через час служка вернулся.

— Господин дознаватель. — Он поклонился. — Вас про-

сят наверх.

Я взял нож, который мне вернули, и пошёл за ним по лестнице. Двери здесь были низкие, обитые войлоком, и за одной из них я услышал, как кто-то ставит на стол посуду.

Кабинет оказался в конце галереи. Служка отворил дверь и отступил.

Стол был накрыт на двоих. Скатерть, два оловянных блюда, две кружки, хлеб, ломоть мяса, кувшин вина. В окно било белое зимнее утро, и на подоконнике лежала книга, которую кто-то читал и закрыл, заложив пальцем место.

Годфрид стоял у окна. За шестьдесят, высокий, седой, в чёрном без всякого шитья, и руки у него были в старых ожогах, как у человека, который много лет держал факелы.

— Садись, — сказал он. — С дороги.

Я остался стоять.

— Я не за обедом, отец. Я с докладом.

— Знаю. — Он вернулся к столу и сел сам. — Доклад ты мне сделаешь за едой. Мясо тут неважное, но горячее.

Я сел напротив и положил на скатерть обе тетради. Приходскую слева, копию справа, как ночью на постоялом дворе.

— Сухой Брод. — Я открыл приходскую на середине. — Тридцать одно имя за два года. Все выскоблены, и все — из списка мёртвых. На полях копии у каждого стоит кружок, вот здесь и здесь. Кружок выведен не рукой жреца. Жреца зовут Ансельм, он не помнит своего имени и зовёт себя Мартином.

Годфрид не смотрел на тетради. Он смотрел на меня.

— Дальше.

— В Хольме, в Столе имён, за этой тетрадью уже приходили осенью. Человек в чёрном, с печатью, на которой круг, и в круге ничего. Он называл себя из Конклава, но печать не конклавская. — Я перевёл дыхание. — В приходе он велел соскоблить имена с плит. Я решил, что у него был список тех, кого помнить нельзя. Осенью. Значит, приказ шёл не снизу, отец. Приказ шёл из короны.

Годфрид взял кружку, отпил и поставил её на место, не стукнув.

— Убери со стола, — сказал он.

— Вы не смотрели.

— Я это читал. — Он поднял глаза. — Выписку из Хольма мне принесли вчера вечером. Ты ехал триста вёрст, а бумага ехала быстрее.

Я положил ладони на тетради и не убрал их.

— Тогда скажите мне, кто велел.

— Ты знаешь, кто велел. — Голос у него был тихий, ровный, и от этого ровного голоса мне стало хуже, чем от крика. — И я тебе скажу то, что ты должен был понять сам: списки не твоё дело. Ни приходские, ни столовые, ни королевские. Ты их не трогаешь.

— У меня тридцать одно имя.

— У меня их тысячи. — Он отставил блюдо и положил руки на стол, и я увидел ожоги на кистях, старые, белые, в

мелких рубцах. — Ты думаешь, ты первый, кто до этого дошёл? Каждый год кто-нибудь приходит и кладёт мне на скатерть тетрадь. И каждый год я говорю одно и то же: это не ересь, это порядок. Порядок держится на том, что имена стоят там, где велено. Рвать его начинают с мёртвых, а заканчивают Сонмом. Это мёртвые, которые не ушли, и живые, которые с ними говорят. У Сонма имена всех, кого мы вычеркнули, и он их помнит.

— В приходской тетради имя моего отца вписали заново и снова выскоблили, — сказал я. — До дырки в бумаге. Кто-то пытался его вернуть. Мне нужно знать кто.

Годфрид молчал. Он смотрел на меня так, как смотрят на человека, которого давно знают и всё ещё ждут от него одного слова.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Тогда у меня к тебе другое дело.

Он выдвинул ящик, достал лист с готовым приказом и положил передо мной.

— Твой отец был переписчиком. Не просто переписчиком: он держал книгу, которой в скриптории не значилось. Когда его брали, книги при нём не было. Её искали двадцать три года и не нашли. — Он подтолкнул лист ко мне. — Найдёшь ты.

Я прочитал. Всё было коротко: «Сыскать и доставить книгу, бывшую при переписчике Дитрихе, сожжённом за ересь. Дознавателю Эймерику дозволяется...»

Дальше шли слова, которые мне не понравились: «...дозволяется спрашивать и записывать без доклада».

— Это приказ? — сказал я.

— Это приказ. — Годфрид приложил печать, придавил её ладонью и посмотрел на оттиск. — И запомни: пока ты ищешь книгу, списки не трогаешь. Ни один.

— Мне одиннадцать было, когда вы меня взяли, — сказал я.

— Мне сорок было. — Он поднялся. — Я тогда думал, что беру в ученики мальчика. Оказалось, беру дело.

— Какое дело?

— То самое. — Он подошёл к окну и стал смотреть на реку. — Двадцать три года, Эймерик. Ты служишь двадцать три года и всё это время ищешь имя своего отца. Я служу столько же и всё это время ищу книгу, которую он спрятал. Ты не первый и не последний, кто в этом деле пешка.

Я взял лист. Бумага была сухая, гладкая, и чернила на ней не блестели.

Я посмотрел на дату. Она стояла вчерашняя, до того, как я въехал в город.

Я вышел на галерею, и служка снял со стены фонарь, чтобы посветить мне на лестнице. Я шёл вниз и держал приказ так, чтобы он не мялся, и думал о том, что служба, которую я нёс все эти годы, и дознание, которое я вёл, были заведены задолго до меня и без меня.

В архив я пошёл в ту же ночь. Приказ давал мне право

спрашивать без доклада, и я решил начать с бумаг.

Архив помещался в подвале под восточным крылом. Дверь была железная, за ней сидел старик с ключами на поясе и с описью толще приходской тетради.

— После полуночи не выдаём, — сказал он, не поднимая головы.

Я положил приказ перед ним. Он прочитал его дважды, потом посмотрел на печать, потом на меня, и я увидел, как он соображает: то ли звать кого-то, то ли делать своё дело.

— Год? — спросил он наконец.

— Двадцать три года назад. Переписчик, сожжён за ересь. Дело должно быть здесь.

Он ушёл между полками, и я слышал, как он переставляет стремянку. Вернулся он без папки.

— Нету, — сказал он.

— Как нету?

— В описи есть, на полке нету. — Он положил передо мной раскрытую опись и ткнул пальцем. — Вот строка. Вот здесь должно быть дело.

Строка стояла в середине листа, и от неё осталось светлое пятно. Бумага в этом месте была протёрта так же, как в копии из Стола имён: кто-то тёр её долго и с нажимом.

Я взял у него фонарь и пошёл сам. Полки шли от пола до потолка, папки лежали связками по десять, и на корешках стояли номера. Я нашёл нужное место: между двумя делами за тот же год лежала пыль, ровная и серая, а по краям, где

стояли папки, остались две чистые полоски.

Папку вынули. И вынули недавно: пыль ещё не легла на пустое место.

— Господин, — сказал старик у меня за спиной.

Я обернулся, и в дверях стоял Годфрид. Он пришёл без фонаря и без служки, в одном чёрном, и в подвале его седые волосы казались белыми.

— Здесь ничего нет, — сказал я.

— Здесь и не будет. — Он подошёл ближе, и я увидел, что он не смотрит на полки, а смотрит на меня. — Ты искал дело отца. Дела нет. Его вынули в ту же ночь, когда брали твоего отца.

— Кто вынул?

— Тот, кому было велено. — Годфрид помолчал. — Твой отец был переписчиком, и это всё, что о нём записано. Но он держал книгу, которой в записях нет и не было. Книгу искали при нём, искали после него, ищут до сих пор, потому что она — единственное, что осталось от твоего отца, кроме тебя.

Я взял опись у старика и стоял с ней, глядя на пустое место между папками.

— Ты уверен, что помнишь отца таким, каким его записали? — спросил Годфрид.

Я поднял на него глаза. Он ждал, и лицо у него было спокойное, как у человека, который уже знает ответ и проверяет, знаю ли его я.

Я не ответил. Он тоже не стал ждать дольше. Повернулся и пошёл к двери, и его шаги были слышны ещё долго, потому что в подвале всё слышно.

Я остался стоять перед пустой полкой.

Соляная Гавань

В Соляную Гавань я въехал на шестой день, к вечеру, и ещё за воротами услышал море. Оно дышало тяжело и низко, как большой зверь за стеной. Ветер шёл с воды, сырой, с горьким привкусом на губах.

На заставе меня остановили. Стражник был в кольчуге поверх тулупа, копьё держал косо и смотрел не на меня, а на мою сумку.

— Грамота, — сказал он.

Я достал приказ. Он читал долго, водя пальцем по строкам, будто разбирал чужой почерк, потом посмотрел на печать и вернул мне бумагу.

— Вам бы, господин, до Схода её не показывать.

— Почему?

— У нас тут на бумаги смотрят. — Он сплюнул в сторону. — Раз в год.

За воротами город шёл вниз, к воде. Дома стояли тесно, многие на сваях, и под ними хлюпало. Камни на улице были белые от соли, колеи полны жидкой грязи, и в этой грязи валялись рыбьи кости и обрывки каната. Пахло смолой, требухой и дымом. Над крышами торчали мачты, и по ним я понял, что в гавани тесно ещё до того, как увидел воду.

Я оставил лошадь на постоялом дворе у ворот, спросил, где стоят корабли, и пошёл вниз пешком. Плащ я снял ещё в

комнате и положил в сумку, а на себя натянул дорожный, но это не помогло: в порту на меня смотрели так, как смотрят на чужую собаку, которая слишком спокойно идёт по двору.

На молу было людно. Корабли стояли в три ряда, бортами почти вплотную, и между ними сновали лодки. Грузчики таскали тюки по сходням, кто-то чинил сеть, кто-то спал прямо на канатах. У третьего причала двое ругались из-за места, и ругань у них была не наша: слова шли горлом, будто их выталкивали.

Сход должен был начаться через три дня. Раз в год капитаны Братства съезжались в Гавань и считали друг с другом долги: кто кому сколько вёз и кто не заплатил. Я знал это ещё на тракте, и это было видно по гавани: сюда согнали суда со всех концов, и на каждом борту был свой счёт к соседнему.

Я начал с грузчиков. Спросил, кто из капитанов берёт бумагу и книги.

— Бумагу все берут, — сказал один, не поднимая головы от тюка. — Писчей нет, не сезон.

— Мне не писчая. Мне тетради. Книги. То, что из канцелярий.

Он выпрямился и посмотрел на меня.

— А вы кто?

Я показал приказ. Он прочитал до половины, потом отступил на шаг, поклонился и пошёл прочь, будто вспомнил о деле. Больше с ним говорить было не о чем.

Так вышло ещё дважды. Один боцман, старик с разбитым

ухом, ответил мне коротко: «Спросите в конторе». Второй, молодой, посмотрел на печать и сказал, что он тут случайно и нанимается только с весны. Оба кланялись, оба молчали, и я понял, что бумага в порту работает наоборот: закрывает рты.

Таможенная контора стояла у самого мола, в каменном доме с низкой дверью. Внутри было тепло и кисло, как в старой бочке. За столом сидел писарь, старик в меховой безрукавке, и вёл счёт: перед ним лежали две книги, одна открытая, другая заложенная верёвкой, и он переписывал из одной в другую, шевеля губами. На стене за его спиной висел герб Державы, а под гербом, на гвозде, кожаная сумка.

— Кто возит из порта копии поминальных тетрадей? — спросил я.

Он поднял голову не сразу, закончил строку и только потом посмотрел на меня.

— Копии? — переспросил он. — Это какие копии?

— Приходские. Те, что идут в Стол имён.

Писарь положил перо.

— Я грузы считаю, господин. Что в тюке, я не развязываю. Тут половины того, что грузим, в описи нет, и половина того, что в описи, не грузится вовсе.

— Мне не нужен тюк. Мне нужно имя.

Я положил на стол приказ. Он посмотрел на печать и не взял бумагу в руки.

— Вот из-за таких бумаг у нас и не спрашивают, что в

тюке, — сказал он. — Покажите мне её в другой день. До Схода её тут показывать нельзя, а после Схода я и сам вас не вспомню.

— До Схода три дня.

— Вот и потерпите.

Я положил рядом с приказом серебряную монету. Он посмотрел на монету, потом на меня, потом на дверь. Дверь была прикрыта, за ней скрипело и стучало, и никто в неё не смотрел.

— До Схода, — сказал он тихо, — тут никого не наймёшь. Все на молу, все друг друга считают, и никто не хочет быть тем, кто первый сговорился с чужаком. А после Схода половина уйдёт, и та, что останется, будет брать что дают.

— Значит, есть кто-то, кто берёт.

— Есть одна. — Он сгрёб монету ладонью, будто стирал крошку. — Сейра. У неё посудина третья от мола, но это не важно. У неё не спрашивают, что в тюке, и она не отвечает. Берёт дорого и вперёд.

— Что она возит?

— Всё, чего в списках быть не должно. — Писарь вернулся к книге и провёл пером по строке, будто закончил разговор. — Только она с вами говорить не станет, пока вы ходите с этой бумагой. Суньте её обратно за пазуху и идите на склад у третьего мола. Вечером она там.

Я взял приказ и сложил его, не глядя.

— Она из Братства?

— Тут все из Братства, — сказал писарь. — Кто не из Братства, тот груз.

Я вышел на мол. Ветер стал сильнее, с воды шла низкая серость, и чайки сидели на сваях, подобрав крылья. За спиной, в конторе, писарь снова взялся за перо. Я подумал, что до Схода три дня и что за три дня в этом порту человек с моей бумагой может и не дожить до склада.

К третьему молу я шёл в темноте. Фонарей тут не жгли: в порту берегли огонь, и улица шла между двумя стенами складов, такая узкая, что двое расходились в ней боком. Морось садилась на лицо, и с крыш капало за ворот.

Склад у третьего мола стоял на сваях, над водой. Под полом хлюпало, и доски ходили под ногой. Внутри горел один фонарь, повешенный на крюк, и в его свете я увидел мешки соли, уложенные штабелем до самой крыши, весы на цепи и женщину, которая стояла к ним спиной и мелом ставила метки на мешках.

Она не обернулась, когда я вошёл. Только сказала, не поднимая руки:

— Стойте там, где стоите. Тут пол гнилой.

Я остановился.

— Мне сказали, что вы берёте груз.

— Вам сказали не то. — Она поставила метку и перешла к следующему мешку. — Я беру деньги. Груз прикладывается.

Она была невысокая, в кожаном колете, рукава закатаны до локтя, и на левой руке, от кисти к локтю, шёл старый

шрам, ровный, будто порезали и зашили грубо. Волосы стянуты на затылке, мокрые от мороси. На поясе висел нож в простых ножнах, без украшений.

— У меня к вам два дела, — сказал я. — Первое: борт. Второе: имя.

— Два дела — две цены. — Она обернулась. Лицо у неё было спокойное, глаза быстрые, и она посмотрела на меня всего сразу, сверху до сапог, как смотрят на лошадь перед торгом. — Только я сначала смотрю, с кем говорю. Снимите капюшон.

Я снял.

— Эймерик, — сказала она. — Дознаватель. Тихий.

Я не назвался ни стражнику, ни писарю.

— Откуда вы меня знаете?

— В порту знают, кто едет. — Она взяла мел и снова повернулась к мешкам. — За три дня до Схода сюда приходят все, кому надо уйти или кого надо встретить. У меня память на лица, а ваше не из тех, что забывают. Шрам под губой. Плащ инквизиции вы, кстати, правильно сняли. Только сапоги у вас казённые. По ним видно.

— Мне нужен борт.

— Куда?

— Пока не знаю. Сначала имя.

Она поставила метку и обернулась уже медленно, будто я сказал что-то, что стоило услышать целиком.

— Так дела не делают.

— Так делают, когда не знают, за чем идут.

— Красиво. — Она отряхнула ладонь о колено. — Имя кого?

— Человека, который осенью возил в Хольм копии приходских тетрадей. — Я смотрел ей в лицо. — Мне не нужны все ваши имена. Мне нужен тот, кто вёз в Хольм.

Женщина молчала. Под полом вода ударила в сваю, и доски ответили.

— Вы говорите про покойника, — сказала она наконец.

— Покойников я не ищу.

— Этот уже никуда не поедет. — Она подошла к весам и тронула гирю, будто проверяла, на месте ли. — Осенью в порту взяли одного человека с двумя тюками бумаги. Не Братство взяло, Братство бы бумагу не тронуло. Взяли чужие, в чёрном, и увезли вверх по реке. С тех пор его не видели. Тюки тоже.

Я стоял и слушал, как она говорит, и понимал, что она рассказывает это слишком спокойно. Так рассказывают то, что знают не понаслышке.

— Кто его взял?

— А вот это второе дело, — сказала она. — За второе платят.

— Сколько?

— Сначала первое. — Она вытерла пальцы о колет. — Борт я вам дам. После Схода. Пойду на север, к устью, а оттуда куда скажете, если заплатите вперёд.

— Сколько?

— Двадцать серебром до устья. — Она сказала это как цену на соль. — И ещё десять, если придётся уходить от погони. За простой с меня берут, а не я.

Я достал кошель и высыпал на весы. Монеты легли на медное блюдо с глухим стуком, и она посмотрела на них без радости.

— Хорошие деньги, — сказала она. — Откуда у дознавателя двадцать серебром?

— Я двадцать три года служу.

— Плохо служите.

Она взяла монету, повернула её, посмотрела на свет, потом положила обратно и подвинула блюдо ко мне.

— Уберите.

— Вам мало?

— Мне хватает. — Она снова взяла мел. — Я не беру вперёд с тех, кто может не дожить до Схода.

— Что это значит?

— Это значит, что вы пришли в порт с бумагой и без людей. — Она провела черту на мешке, ровную, как по линейке. — Вас тут видели на молу, вы спрашивали про тетради у всех подряд, и один из тех, кто кланялся, уже послал мальчишку вверх по улице. Я не знаю, к кому. Но я знаю, что до Схода такие люди, как вы, в гавани не задерживаются.

— Я могу заплатить.

— Я знаю. — Она обернулась, и в лице у неё ничего не

изменилось. — Поэтому и говорю: платить будете не вы.

Я ждал.

— У вас бумага, по которой разрешено спрашивать без доклада. «Дозволяется спрашивать и записывать без доклада». — Она проговорила это медленно, как читают вслух по складам. — Такие бумаги пишут не для одного человека. Значит, за вами есть тот, кто их писал.

Я не ответил.

— Вот он и заплатит, — сказала она. — Когда придёт за вами следом. А до Схода я вас не беру.

— Тогда зачем вы мне это рассказали?

— Потому что вы спросили про Хольм, — сказала она. — И потому что человек с двумя тюками бумаги осенью тоже сначала спрашивал, а потом его увезли вверх по реке.

Она задула фонарь, и в складе стало темно. Только в проёме двери стояла серая морось, и в ней видно было, как качается мол.

До рассвета меня разбудили. В дверь постучали коротко, два раза, и на постоялом дворе так стучал только хозяин. Я успел взять нож и встать у стены, но их было трое, и один держал фонарь так, что свет бил мне в лицо.

— Сход зовёт, — сказал тот, что был ближе.

Я мог бы показать приказ. Я не показал. В порту бумага закрывала рты, а мне в это утро нужны были люди, которые говорят.

Они шли со мной по обе стороны, и нож я отдал на крыль-

це. Улица была серая, море за домами светлело, и чайки уже кричали над сваями. Возле пакгауза было много людей, голов сорок, и все молчали, как молчат перед тем, как начать считать.

Внутри пахло потом и мокрым деревом. Пол был посыпан крупной солью, чтобы не скользить. Посреди пакгауза стоял длинный стол, сколоченный из досок, за ним сидели капитаны: человек десять, кто в кожаном, кто в меховом, у одного через плечо висела цепь. За их спинами, у стены, лежали тюки, и на тюках сидели те, кому места за столом не было.

Меня поставили в конце стола, лицом к ним.

Сейра сидела третьей слева. Она не посмотрела на меня.

— Имя, — сказал старик в середине. У него было лицо, как старая верёвка, и один глаз не открывался.

— Эймерик. Дознаватель Державы.

— Мы знаем, кто вы. — Он положил руки на стол. — Мы не знаем, зачем вы в гавани.

— У меня приказ искать книгу.

— Книгу, — повторил старик. — В Соляной Гавани их три склада. Вам какую?

Кто-то за столом усмехнулся.

— Ту, которой нет в описи, — сказал я.

— Тут половины нет в описи. — Он сказал это теми же словами, что и писарь, и я понял, что в порту все говорят одно и то же, потому что иначе говорить нельзя. — Вы пришли на мол и спрашивали про тетради. Про приходские. Вы

спрашивали у моих людей, а у них есть семьи в трёх городах, и им не нужно, чтобы к ним приходили с вашей бумагой.

— Я спрашивал про копии, которые уже вышли из канцелярии.

— Тем хуже. — Старик посмотрел по сторонам, и капитаны закивали. — Копии выходят из канцелярии, а приходят в порт. Значит, вы пришли по нашу душу.

— Я пришёл по одну душу.

— Все так говорят. — Он поднял руку и показал два пальца. — У нас два дела. Первое: вас надо убрать из гавани до Схода. Второе: вас надо убрать так, чтобы за вами не пришли.

За столом стало тихо. Кто-то из тех, что сидели на тюках, переложил ногу на ногу.

— Есть простой путь, — сказал капитан с цепью. — Вернуть его тем, за кем он шёл. Пусть его люди заберут его у нас на молу, при свидетелях. Тогда порт чист.

— И они заберут нас вместе с ним, — сказал другой. — Инквизиция не различает, кого брать.

— Он один.

— Он не один. За ним бумага.

Я слушал и запоминал: кто как сидит, кто молчит, кто уже согласился. Старик в середине ещё не согласился.

— У меня бумага, — сказал я, — которая позволяет спрашивать без доклада. Ею можно спрашивать про книгу. Ею нельзя трогать порт, если я сам этого не захочу.

— Вот и мы о том, — сказал капитан с цепью. — Захотите.

— Тогда вы ничего не теряете, если я уйду отсюда живым и не под стражей.

Старик медленно покачал головой.

— Мы уже теряем, — сказал он. — Вы стояли на молу и называли Хольм. Половина гавани слышала.

Тут поднялась Сейра.

Она встала не резко, а как встают, когда знают, что и так будут слушать.

— Он мой долг, — сказала она.

Капитаны повернулись к ней. Старик не повернулся.

— С каких это пор? — спросил он.

— С этой ночи. — Она обошла стол и встала рядом со мной, чуть впереди. — Он приходил ко мне на склад. Я взяла с него слово, что до Схода он не тронет ни одного человека из Братства, а я за это отвечаю за него перед Сходом.

— Ты не брала с него слова, — сказал капитан с цепью. — Ты его знать не знала до ночи.

— Сегодня знаю.

— Зачем тебе это?

— Затем, что мне за него заплатят. — Она сказала это ровно, без вызова. — Не он. Тот, кто придёт за ним следом. И заплатят вперёд, и заплатят столько, что мне хватит на два года без Схода.

За столом зашумели. Кто-то стукнул по доскам ладонью.

— Кто заплатит? — спросил старик.

— Не ваше дело, если заплатит.

— Наше, — сказал он. — Если за него платят чужие, значит, чужие знают про наш порт больше, чем нам нравится.

— Знают, — согласилась Сейра. — И это не новость. За нас и раньше платили чужие. — Она положила на стол свой нож, и я услышал, как он стукнул о доску. — Я отвечаю за него своей посудиной и своим словом. Скажите вслух, что берёте, и я увезу его после Схода. Не скажете — я увезу его сегодня, и тогда мне будет всё равно, что вы тут решите.

Старик смотрел на неё долго. Потом посмотрел на меня, и в его открытом глазу не было ничего, кроме счёта.

— Долг, — сказал он наконец.

— Долг, — повторила Сейра.

— Долг, — сказал капитан с цепью, и за ним повторили остальные, не все сразу, а вразнобой, как читают знакомое.

Старик поднял руку, и в пакгаузе стало тихо.

— Сейра из Братства берёт на себя человека с бумагой. Ведёт его из порта после Схода, отвечает за него перед Сходом. Кто тронет человека до Схода, тот тронет её. Кто тронет её, того мы вычеркнем из Договора и не дадим воды ни в одном порту.

Он сказал это как читают по книге, и капитаны слушали до конца, и никто не перебил. Потом он опустил руку и посмотрел на меня.

— Уходите.

Меня вывели из пакгауза. Соль хрустела под сапогами, в

дверях стоял серый свет. Сейра вышла следом, и на крыльце, где нас уже никто не слушал, сунула мне в руку свинцовую пломбу на ремешке. Пломба была мягкая, с продавленной меткой, и от неё пахло смолой.

— Повесьте на руку и не снимайте. — Она затянула ремешок у меня на запястье. — Пока это на вас, вас не тронут. После Схода снимете.

— Кто за меня заплатит?

— Я же сказала: тот, кто придёт за вами следом. — Она посмотрела мне в лицо. — Только он заплатил уже. Меня наняли везти вас ещё до того, как вы вошли в порт.

— Кто нанял?

— Вот этого я вам не скажу. — Она отпустила ремешок и пошла вниз по улице, к молу. — И не спрашивайте до Схода.

Год в скриптории

На другой день после пакгауза я нашёл её посудину третьей от мола.

Пломба висела у меня на запястье, свинцовая, с продавленной меткой. Ремешок отсырел за ночь и тёр кожу, и я дважды просыпался от него, как просыпаются от чужой руки. Я его не снимал.

Посудина была старая, с высокой кормой и чёрными подтёками смолы по борту. На палубе стояли бочки, накрытые половиком, между ними лежал моток каната. Пахло варом, солью и мокрым деревом. Сейра сидела на корме и правила напильником крюк. Напильник шёл медленно, с нажимом, и с каждым движением она поглядывала не на железо, а вдоль мола.

— Мне нужен человек Конклава, — сказал я.

Она провела напильником ещё раз и только потом подняла голову.

— Какой человек?

— Тот, кто в этом порту умеет читать списки.

— В порту всякого хватает. — Она вернулась к крюку. — Только у нас с Конклавом не так делается, чтобы заходить с мола и спрашивать.

— А как они делаются?

— Через того, кто знает дверь.

Я остался на сходнях. Сходни ходили под ногой, вода под ними хлопала в сваю, и я слышал, как далеко, на другом конце мола, переругиваются грузчики.

— Мне нужно имя до того, как мы выйдем в море, — сказал я. — Сегодня.

Она положила крюк на палубу и вытерла ладонь о колено.

— Вы слушали, что я говорила на крыльце?

— Слушал. Пломбу ношу.

— Я не про пломбу. — Она посмотрела мне в лицо. — Меня наняли везти вас целым. Не водить по домам, где вас потом не соберут.

— Кто нанял?

— Сами увидите.

— Я спрашиваю не из любопытства.

— Знаю, — сказала она. — Я тоже.

Я снял шапку и сунул её за пазуху. Ветер с воды шёл низкий и сырой, и у меня стыли пальцы, а в голове было одно: тридцать одно имя, выскобленное в одном приходе за два года, и человек в чёрном с кругом без ничего, который ходит по деревням и записывает, кто помнит. Пока я стоял на этом молу, он ходил где-то ещё.

— Люди Конклава берут не серебром, — сказала Сейра.

— Я это знаю.

— Правда знаете? — Она усмехнулась, коротко, одним краем рта. — Тогда скажите, чем.

Я не ответил.

— Вот и я о том, — сказала она. — Вы двадцать три года прожили в бумагах и думаете, что цену назначают монетой. У них другая монета, и сдачи они не дают.

— Мне не надо сдачи.

— Вам надо, чтобы было чем заплатить. — Она встала и подняла с палубы крюк. — Идите с мола. Я вам ничего не говорила.

Я не ушёл.

— В Сухом Броде три человека не помнят своих мёртвых, — сказал я. — Женщина не помнит мужа, кузнец не помнит матери, парень ходит вечерами на могилу отца и не знает, что он там делает. А жрец не помнит, как его зовут. Тридцать одно имя за два года в одном приходе, и у каждого на полях копии стоит круг. Я привёз это в столицу, и мне сказали, что списки не моё дело.

Сейра смотрела на воду. Крюк она держала в руке, и напильник торчал у неё из-за пояса.

— И что вы хотите от человека Конклава?

— Имя того, кто велел скоблить.

— Имя, — повторила она, как пробуют слово на вкус. — Одно имя.

— Одно.

Она бросила крюк в бочку. Железо стукнуло о дерево, и в бочке отозвалось глухо.

— Я один раз видела, как это делают, — сказала она. — Мне хватило.

— Тогда вы знаете, куда идти.

— Я знаю, куда не надо идти. Это разное. — Она перешагнула на сходни и оказалась рядом со мной, ниже на полголовы, от неё пахло смолой и холодной водой. — Ладно. Но пойдём вместе, и до двери вы не скажете ни слова.

— Почему?

— Потому что туда не входят с улицы. Туда входят с кем-то. — Она пошла по сходням на мол и на ходу затянула потуже ремешок на рукаве. — И ещё одно. При нём вы скажете, что нашли дорогу сами. Скажете, что спросили в конторе и вам показали. Если он узнает, что вас привела я, я туда больше не войду, а мне туда ещё ходить.

— Он спросит?

— Такие не спрашивают, — сказала она. — Такие записывают.

Мы шли по молу, и я смотрел ей в затылок. Волосы у неё были стянуты мокрым узлом, и на шее под воротником виднелся рубец, старый, светлый. Я запомнил её слова про монету и про то, что сдачи не дают, и положил их рядом с тем, что уже знал: двадцать серебром она у меня не взяла, а за проезд до устья цену назвала сразу. Значит, платил за меня кто-то другой, и этот другой знал, что я приду в порт, раньше, чем я вошёл в его ворота.

У амбаров она свернула в проулок между двумя соляными стенами. Стены были сложены из мешков, и соль просыпалась на землю, белая, как извёстка. В конце проулка стоя-

ла низкая дверь без вывески, обитая войлоком, и над ней из стены торчал ржавый крюк, на котором когда-то висел фонарь.

Сейра остановилась за три шага до двери.

— Помните, о чём я просила.

— Помню.

— Тогда говорите меньше, чем умеете. — Она поправила нож на поясе и постучала.

Дверь открылась не сразу. За ней было темно, пахло гарью, чернилами и чем-то кислым, как от старого рассола. Сейра шагнула первой, и я пошёл за ней.

В солеварне давно не варили соль. Печь была заложена кирпичом, чан оттащили к стене, и он стоял там ржавый и пустой, и в нём лежали свёрнутые половики. Посередине, где раньше стоял чан, поставили длинный стол, а на столе горели две свечи. За столом сидел человек в сером. Перед ним лежали две книги: одна открытая, другая заложена ремешком. Он вёл пером по строке и не поднял головы, когда мы вошли.

— Поздно, — сказал он. — Я закрыт.

— Мне нужно имя, — сказал я.

Он закончил строку, потом посмотрел на меня. Лицо было бритое, а руки чистые, без соли и без чернил на пальцах. В этом порту таких рук не было ни у кого.

— Имена дороги, — сказал он.

— Я заплачу.

— Чем?

Я достал кошель и положил на стол. Он посмотрел на него и не тронул.

— Серебро я возьму, — сказал он. — Оно пойдёт за работу. За имя платят другое.

— Что?

— Год.

Я подумал, что ослышался.

— Год чего?

— Вашей жизни. — Он обмакнул перо и подержал его над чернильницей, чтобы стекло лишнее. — Любой. Тот, который вам не нужен.

— У меня нет такого года.

— Тогда тот, который вы помните хуже других.

Я стоял и смотрел на его книгу. Сейра не села и не сказала ни слова. Она стояла у двери, сложив руки под грудью, и смотрела в пол, как смотрят люди, которые уже слышали этот разговор и не хотят слушать снова.

— Как это будет? — спросил я.

— Вы говорите. Я записываю. — Он провёл ладонью по открытой странице. — Всё, что помните за этот год. По порядку, как вспомните. Когда я допишу, вы этого не вспомните.

— И это всё?

— Это всё.

— А если я буду молчать?

— Тогда я запишу молчание, и вы забудете, о чём молча-

ли. — Он сказал это спокойно, как говорят о цене на соль. — Мне всё равно. Я беру не правду, я беру время.

— А если я совру?

— Соврёте, я запишу ложь, и вы забудете её вместе с остальным. Мне тоже всё равно.

Свеча у него на столе горела ровно, и воск капал на блюдце. Я слышал, как за стеной в чьём-то дворе бьёт по железу молот, и как под полом капает вода в лужу.

— Хорошо, — сказал я. — Год, когда мне было десять. Я жил при скриптории.

Он поднял на меня глаза.

— При отце?

— При отце.

Он помолчал, потом наклонил голову к книге.

— Дорого вы себе это оценили.

— Мне этот год не нужен, — сказал я. — Мне нужна строка в тетради. Имя отца я знаю наизусть: «Дитрих, переписчик, сын Хальдора, сожжён за ересь». Я помню эту строку с одиннадцати лет. Всё остальное я и так теряю.

— Не так, как сейчас потеряете, — сказал он. — Ну, ваше дело. Говорите.

И я стал говорить.

Сначала шло легко. Скриптория стояла за церковью, в длинном доме с низкими окнами, и зимой там топили так, что от сухости першило в горле. У отца был стол у окна, а окно выходило во двор, где стояла поленница и ходили ку-

ры. Я носил листы с одного стола на другой и получал за это медяк в субботу. Чернила пахли дубовой корой и желчью, клей на переплётах пах куда хуже, а отец смеялся и говорил, что к запаху привыкают, как к родне. Летом в окно летела пыль с дороги и садилась на листы, и её надо было сдувать. Я знал, какая полка скрипит, если на неё нажать. Я знал, где отец прячет хлеб, чтобы мыши не достали.

— Дальше, — сказал человек в сером.

Я говорил про осень. Про то, как отец засиживался дольше всех и его оставляли запирать дом. Про то, как я приносил ему в узелке репу и он ел её, не отходя от работы, и на бумаге оставались жирные пятна, которые потом приходилось выводить. Про то, как однажды он взял меня на колени и показал буквы, которые пишутся не так, как слышатся, и сказал: «Запомни, это не для письма, это для чтения особых книг».

— Дальше.

Я говорил и слышал, как мой голос идёт ровно, а за словами становится пусто. Я ещё видел то, о чём говорил, но с каждым словом видел хуже, будто смотрел в окно, которое кто-то прикрывает ставнем. К концу я рассказывал про комнату отца и понимал, что рассказываю её по описанию, как рассказывают чужое письмо.

— Дальше, — сказал человек в сером.

— Зимой там был снег, — сказал я. — Снег во дворе.

— Снег у всех. Дальше.

Я поискал в себе ещё что-нибудь и не нашёл.

— Больше не помню.

Он поставил точку. Чернила в книге лежали ровно, без нажима, буква к букве, и я успел подумать, что рука у него не наша, письмо не по-нашему чистое.

— Довольно, — сказал он и закрыл книгу.

Я слушал, как за стеной бьёт молот. Я помнил, что говорил про скрипторию, и помнил, что это было правдой, но последние слова уже ни к чему не крепились, как оторванные узелки.

— Год ваш у меня, — сказал он. — Сядьте на крыльце и подождите. Я выпишу вам заказ, иначе вы его не донесёте.

Я вышел. На крыльце было холодно, соль хрустела под сапогами, и от воды шёл туман. Я сел на приступку и попробовал вспомнить комнату отца.

Я знал, что она была. Знал, что она была над скрипторией, что в ней стояла кровать, стол и сундук. Знал, что окно выходило во двор, потому что там ходили куры. Но как выглядели стены, где стояла кровать, какого цвета было одеяло, что лежало на подоконнике, я сказать не мог. Я помнил про эту комнату всё, что о ней было записано, и ничего из того, что в ней видел.

Сейра вышла следом и встала рядом, не садясь.

— Ну? — спросила она.

— Он выпишет.

— Я не про это спрашиваю.

Я поднял на неё глаза. Она смотрела на меня так, будто у меня на её глазах забрали что-то, а я этого ещё не заметил.

Дверь открылась через четверть часа. Человек в сером вышел на крыльцо с листом в руке, лист был ещё сырой, чернила блестели.

— Держите. — Он отдал его мне. — Это выписка из книги заказов, а не заказ. Заказ лежит в канцелярии, за тремя печатями.

Я взял лист. Бумага была плотная, обрезанная ровно, и на ней стояло шесть строк, писанных той же чистой рукой, что и в книге.

«По уезду Хольмскому, приходам Сухого Брода и окрестным. Чистка имён, отшедших в два последних года, с выскоблением на плитах. Прошено отцом-дознавателем Годфридом, инквизитором Державы при Столе имён. Скреплено канцелярией его величества. Уплачено: двадцать фунтов медью и год с просителя.»

Я прочёл два раза. Руки у меня не дрожали, и это было хуже всего.

— Здесь имя, — сказал я.

— Здесь имя, — согласился он. — Вы за него заплатили.

— Кто вам дал книгу заказов?

— Тот, кто её ведёт. — Он вытер руки о полу и стал сходить с крыльца, но остановился на нижней ступени. — Заказы пишут у нас, а не у них. Мы считаем, кто кому сколько должен. Ваш заказ у меня был записан ещё до того, как его

исполнили.

— Он каждый год чистит списки?

— Он платит каждый год. — Меняла повернулся и посмотрел на меня снизу. — Три года вперёд, медью и памятью. Так делают те, кто хочет, чтобы их дело шло без них. — Он поднялся по ступеням и взялся за скобу. — Бумагу не показывайте в канцелярии. Она оттуда не выходила.

Дверь закрылась.

— Год с просителя, — сказал я вслух.

Сейра стояла рядом и смотрела на лист через моё плечо.

— Что это значит?

— Это значит, что он тоже отдал год. — Я сложил бумагу вдвое и сунул за пазуху, к приказу. — Тот, кто велел скоблить имена, сам заплатил за это годом своей жизни. И где-то в его голове теперь дырка того же размера, что у меня.

— Вы радуетесь?

— Нет. Я считаю.

Она отошла на шаг и прислонилась к соляной стене. Соль осыпалась у неё за спиной и легла на плечо, и она не стала её смахивать.

— Знаете, чем вы от него отличаетесь? — спросила она.

Я ждал.

— Ничем, — сказала она. — Он тоже считает. Только вы считаете с обеих сторон и надеетесь, что из этого выйдет правда.

— А по-вашему, не выйдет?

— По-моему, вы сегодня отдали год за лист бумаги. И говорите сейчас так, будто купили на него море.

Я посмотрел на неё и понял, что она права, но не в том, о чём говорит. Утром я торговался за двадцать серебром, считал каждую монету и знал цену всему, что здесь продаётся. А теперь я стоял на этом крыльце и не жалел ни о годе, ни о комнате, которой у меня больше не было, и мне это не казалось потерей. Мне вообще теперь мало что казалось потерей.

— Цена приемлема, — сказал я.

— Для кого?

— Для дела.

Сейра оттолкнулась от стены.

— Вот это меня и пугает, — сказала она. — Не Конклав. Не те люди в чёрном. Вы. Я видела, как людей обирают до нитки, и они плачут и торгуются. А вы за один день заплатили и уже спрашиваете, где тут ещё платят.

— Мне нужно в портовую контору Стола имён, — сказал я.

— Зачем?

— За копией. Заказ, который лежит в канцелярии за тремя печатями, до меня не дойдёт, а копия в портовой конторе лежит за одной. — Я вынул лист и сложил его ещё раз. — С этой бумагой меня никто не станет слушать. С печатью — станут.

— Копии выдаются по приказу.

— У меня есть приказ.

— На книгу, — сказала она. — Не на списки. Вас с ним в контору пустят, а копию не дадут.

— Я приду туда ночью.

Сейра долго молчала. Ветер нёс с воды туман, и он шёл по проулку низко, цепляясь за мешки.

— Вы понимаете, что после этого вам не дадут ни воды, ни огня? — спросила она. — Если вы взломаете контору, вы не просто украдёте бумагу. Вы выйдете из списков. Не вас вычеркнут, а вы сами вычеркнетесь, и обратно уже никак.

Я смотрел на её руки, на старый ровный шрам от кисти к локтю, и думал о том, что она говорит со знанием, а не из жалости.

— Тогда я узнаю, чем платят за правду, — сказал я.

— Правдой и платят. — Она поправила воротник и пошла из проулка. — Ладно. Посудина уходит на север через два дня. Если вас к тому времени не будет в списках, я возьму вас как груз, и вы не будете спрашивать, куда мы идём.

Она вышла на мол, и туман накрыл её с головой.

Вне списков

В портовой конторе Стола имён ещё горел огонь.

Я увидел его с мола: два окна в верхнем этаже, за переплётом, жёлтые и ровные, будто в доме никого не было, а свет оставили на ночь. Над дверью висела вывеска с солнечным кругом, краска на круге облупилась до дерева. У входа стоял часовой с алебардой, не спал и дышал в кулак.

— Закрыто, — сказал он.

Я показал ему печать на приказе. Часовой посмотрел на печать, потом на мой плащ, потом опять на печать.

— Книги опечатаны до утра.

— Я не могу ждать до утра.

Он посторонился.

В конторе пахло холодной золой и мокрой бумагой. Внизу стояли столы, на них лежали раскрытые описи, придавленные медными грузиками; вдоль стены шли полки до потолка, и на полках лежали книги в кожаных переплётах, корешками внутрь. Всё было прибрано, и только на одном столе горела свеча в латунном подсвечнике, а за столом сидел писарь и писал.

Он не поднял головы, пока не кончил строку. Потом положил перо, вытер два пальца о тряпку и посмотрел на меня.

— Поздно, — сказал он. — До утра не принимаю.

— Мне нужна копия с заказа.

— Какого заказа?

— По Хольмскому уезду. Чистка имён, два последних года, приходы Сухого Брода и окрестные.

Он помолчал.

— Копии выдаются по приказу канцелярии.

Я положил приказ на стол и развернул его так, чтобы печать легла к свече. Писарь прочёл. Читал он медленно, водя пальцем по строке, и я ждал. Я знал, что в приказе написано, и знал, что он дочитает до конца.

— Здесь книга, — сказал он. — Которую держал переписчик. Не списки.

— Читайте дальше.

— Дальше то же самое. — Он отодвинул приказ на край стола, поближе ко мне. — За копию из книги заказов отвечают головой. У нас не уездный город, где можно дать писцу монету и уйти с листом за пазухой. У нас контора при порту. Что отсюда выходит, то выходит в море.

— Кто ещё спрашивал эту книгу?

— Много кто.

— Осенью. Человек в чёрном.

— Осенью приходили трое, и все в чёрном. — Он поднял на меня глаза, и в них не было ни страха, ни любопытства. — Я вам ничего не говорил, потому что мне нечего сказать. Я сижу здесь двадцать лет и выдаю копии по приказу канцелярии. Приказ есть?

— Печать есть.

— Печать ваша, а приказ не тот.

Он встал, взял подсвечник и понёс его к стене, где стоял железный шкаф. Шкаф был низкий, широкий, обитый полосами, и в скобах висел замок размером с кулак. Писарь достал из-под кафтана ключ на шнурке, отпер замок, уложил внутрь связку книг, которую держал на столе под тряпкой, запер снова и подёргал дужку.

— На ночь я его не оставляю, — сказал он. — Утром придёте с приказом канцелярии, я выдам копию, и печать приложу. А без приказа — вот дверь.

— Я приду утром, — сказал я.

— Приходите.

Он проводил меня до выхода, задвинул засов и поднялся по лестнице. Свеча ещё постояла на подоконнике второго этажа, потом ушла в глубину, и окна погасли.

Я не ушёл с мола. Я обошёл дом с моря, где у конторы был чёрный ход и где стояла вода, и стал ждать за поленницей, слушая, как под настилом хлюпает.

Он захрапел через полчаса. Храп шёл через стену, ровный, тяжёлый, с остановками.

Дверь на чёрном ходу была на засове изнутри, но рядом, под навесом, стояло окно с откинутой створкой. Я подставил под него бочку, влез и оказался в той же комнате, где сидел писарь. Свечи здесь не было. Я стоял и ждал, пока глаза привыкнут, и слышал, как над головой, за досками, храпят.

Петли на шкафу были снаружи, толстые, на штырях. Верх-

ний штырь я вынул ножом, нижний пошёл туже, и я выбил его ладонью, чтобы не стукнуло. Дверца сошла на руки и оказалась тяжелее, чем я думал; я поставил её к стене.

Внутри лежали книги заказов, сшитые, в твёрдых обложках, с ярлыками по годам. Я нашёл нужный год, вынул том на стол, открыл по ярлыкам месяцев и повёл пальцем по строкам. Писал писарь ровно, с нажимом, без помарок. Записи шли одна за другой, и в каждой были имя просителя, уезд, уплата и подпись того, кто скрепил.

Копия лежала там же, вшитая между листами: тот же заказ, снятый другой рукой, с сургучной печатью на шнуре. Шнур был продет в бумагу и припечатан так, что снять печать можно было только с куском листа. Я взял копию, сложил вдвое и сунул за пазуху, к приказу.

Наверху скрипнула доска. Храп оборвался.

Я успел закрыть дверцу шкафа и вставить нижний штырь, но верхний лежал у меня в кармане, и дверца висела криво.

Писарь вышел со свечой и остановился на нижней ступеньке. Он был в рубахе, босиком, и свеча у него в руке дрожала так, что тень ходила по стене.

— Кто здесь?

— Я, — сказал я.

Он узнал голос и не двинулся с места.

— Вы сказали, что придёте утром.

— Я и пришёл.

Он смотрел на шкаф, на перекошенную дверцу, на поло-

сы, которые я не успел поставить на место. Потом на меня.

— Это кража, — сказал он. — Из конторы Стола имён. За неё вешают.

— Знаю.

— Я за неё отвечаю.

— Ответите, — сказал я. — Скажете, что человек в сером взял копию у вас на глазах и что печать на ней настоящая.

Он молчал. Свеча у него в руке наклонилась, и воск капнул на пол.

— Вас повесят, — сказал он. — И меня повесят с вами.

— Вас не тронут. Вы писарь, который спал и проснулся от шума. Вас не было в комнате, когда я снимал дверцу. — Я застегнул кафтан. — А если вы промолчите утром, то скажетесь моим сообщником. Тогда вас точно не помилуют.

Он всё ещё стоял на ступеньке. Я подошёл к окну, взялся за раму и обернулся.

— Я мог вас убить, — сказал я. — Пока вы спали, и ещё раз, сейчас. Мне это было бы дешевле. Убитый писарь сделал бы из бумаги дело об убийстве, а мне нужно, чтобы бумага была бумагой, а вы живым свидетелем.

— Что за бумага?

— Не ваша.

Я вылез в окно, спустился на бочку и на настил. Свет за спиной стоял ещё долго, потом погас, и я услышал, как в конторе задвигают засов, потом другой, потом третий.

На молу было пусто. Вода ходила под сваями, соль скри-

пела под сапогами, и туман к утру поднялся до пояса. Копия лежала за пазухой, сургучом к телу, и резала кожу.

Я шёл по молу и думал, что утром вернусь сюда в плаще и с приказом, и что копия с сургучной печатью стоит дороже, чем я думал.

К рассвету туман ушёл на воду, и над гаванью стал виден дым: солеварни топили, из труб шёл низкий серый дым и ложился на черепицу.

Я вымыл лицо у колодца и причесался пятернёй, чтобы не походить на человека, который ночевал под поленницей. Плащ я вычистил о сено. Сапоги были мокрые насквозь, и в них хлюпало, но это было последнее, что меня беспокоило.

У конторы Стола имён стоял уже другой часовой, молодой, в стёганом кафтане, и рядом с ним грелся у жаровни мальчишка с вязанкой дров.

— По делу, — сказал я и показал печать.

Часовой взял приказ обеими руками, повернул к свету и стал читать, шевеля губами. Я ждал, глядя на его лицо, и по лицу было видно, что он дошёл до середины и не понимает.

— Подателю сего, — сказал он наконец. — А вы кто?

— Дознаватель при инквизиции.

— Имя.

— Эймерик.

Он посмотрел на бумагу, потом на меня. Взгляд у него был не враждебный, а тупой и очень внимательный, каким смотрят на человека, который говорит на чужом языке.

— Эймерик, — повторил он. — Эймерик.

И замолчал.

— Что не так?

— Не знаю такого, — сказал он.

Я стоял и смотрел на него. Он не издевался. Он держал мой приказ в руках, читал его дважды, и моё имя в его голове не оставляло следа, как слово, сказанное на ветру.

— Позови писца, — сказал я. — Тот, что работал ночью.

Он обрадовался поводу уйти и ушёл. Вернулся вскоре с ночным писарем, который вышел на крыльцо в накинутом на плечи кафтане, с отекшим лицом, и остановился на верхней ступени.

— Этот? — спросил часовой.

Писарь смотрел на меня долго. Я видел, что он узнаёт: и кафтан, и шрам под губой, и то, как я стоял. Он узнавал меня всего, кроме имени.

— Этот был ночью, — сказал он.

— Кто он?

Писарь молчал. Он открывал и закрывал рот, и я в первый раз в жизни видел, как человек ищет имя, которое у него было, и не находит.

— Не помню, — сказал он наконец.

— Как не помните? Вы меня видели.

— Видел. Имя не помню. — Он повернулся к часовому. — Пиши, что был человек в сером, ночью был, в контору входил.

— А звать его как?

— Не знаю.

Часовой опустил приказ и посмотрел на меня уже иначе, без тупости. Молодой был, но не глупый.

— Без имени я вас не пущу, — сказал он.

— В приказе стоит печать инквизиции.

— В приказе стоит «подателю сего», а подателя нет. — Он вернул мне лист. — Идите с миром. Не моё дело.

Я взял приказ. Бумага была тёплая от его рук.

Я пошёл на таможню. Там уже открыли ставни, двое грузчиков перекатывали по настилу бочку, из открытой двери пахло рыбой и горячей смолой. За перегородкой сидел тот писарь, что в первый день взял у меня монету и назвал Сейру, и перед ним лежала раскрытая книга, в которой он вечером записывал приход.

— Доброго утра, — сказал я.

Он поднял голову. Лицо у него было помято со сна, но глаза цепкие.

— Доброго.

— На днях я давал вам монету.

— Может, и давали. — Он потянулся к книге и стал листать. — Монеты у меня за тот день записаны. Вот, две. Тут одна без имени, я не успел дописать.

— Это моя.

— Может, и ваша. — Он смотрел на меня и хмурился, будто припоминал что-то важное и не мог дотянуться. — А

как вас звать?

Я сказал.

Он кивнул, посмотрел в книгу и снова на меня. Потом взял перо, обмакнул и написал одно слово против монеты. Я не видел какое.

— Всё, — сказал он. — Ступайте, у меня работа.

— Мне нужен список кораблей, что уходят до полудня.

— Списки вывешивают у заставы.

— А у вас?

— У меня тоже. — Он прикрыл книгу ладонью. — Только я вам их не дам. Вы не в книге.

Я стоял и смотрел на его ладонь.

— Что вы написали? — спросил я.

— Что монета принята от человека в сером. — Он не отнял руки. — Имени нет, а монета есть. Так и запишем.

На улице между конторой и заставой я остановился у стены, вынул копию и развернул её. Сургуч был цел. Шесть строк, чистая рука, внизу печать канцелярии и подпись: «Уплачено двадцать фунтов медью и год с просителя». Я прочёл их ещё раз, чтобы удостовериться, и убрал лист.

У заставы, на доске, прибитой к столбу, висел свежий лист. Бумага была белая, чернила чёрные, и у столба уже стоял народ: две бабы с корзинами, старик в рваном тулупе и мальчишка, который читал вслух, водя пальцем по строке, потому что сам ещё плохо разбирал.

Это был лист податной книги, вывешенный на неделю: ко-

го вписали, кого вычеркнули.

Мальчишка добрался до последней строки и прочёл её медленно, по слогам, и я услышал своё имя.

Эймерик, сын Дитриха, дознаватель при инквизиции Державы, за кражу из конторы Стола имён вычеркнут из податной книги и лишён покровительства.

Ниже стояло число. Я смотрел на него и считал, как пересчитывают монету.

Число было вчерашнее.

Я стоял у столба и смотрел на эту строку и вдруг увидел всё дело насквозь, как видят сверху расстановку на доске. Приказ о моём вычеркивании скрепили вчерашним числом, когда я ещё торговался с Сейрой на посудине и считал, что у меня есть время до утра. Меня вычеркнули не за кражу. Кража только дала им повод, а повод они держали наготове.

Значит, ждали. Значит, всё, что я делал ночью, было уже записано в канцелярии вчера.

Старик в тулупе спросил у меня, что там пишут, и я сказал, что ничего важного. Он постоял и отошёл.

Я отошёл от доски и вынул из-за пазухи приказ. На нём была настоящая печать, настоящая подпись, и он ничего больше не значил. Всё, что у меня осталось, лежало рядом с ним: копия с заказа, сложенная вдвое, с сургучом на шнуре. Она была единственной бумагой на свете, которая ещё говорила, что я это я.

Два дня я прожил в лодочном сарае за соляными амба-

рами, где чинили сети и держали смолу. Там пахло рыбой и дёгтем, на полу лежала перевёрнутая лодка, и я спал под ней, накрывшись рогожей. Серый плащ я снял в первый же час и ходил в чужой робе, купленной за монету: в ней я был похож на человека, который таскает мешки и не умеет считать дальше десяти. За два дня меня никто не окликнул. Раз ночью в сарай зашли двое матросов, сели на борт лодки, поговорили про отлив и ушли. Они меня не видели, а если бы увидели, им было бы всё равно: человека в такой робе не спрашивают, как его звать.

На третий мол я пришёл до отлива, когда вода ещё стояла высоко и сходни лежали круто. Посудина стояла там же. На палубе над бочками натянули половик, и двое возились у мачты, подтягивая такелаж. Сейра стояла на корме и смотрела на мол, а не на рею, как смотрят люди, которые ждут.

Я поднялся по сходням.

— Вы в чужом кафтане, — сказала она, не поздоровавшись.

— Меня ищут в сером.

— Вас и в этом найдут. — Она оглядела меня сверху донизу. — Шли бы вы лучше за питьём, чем сюда. Вода на молу нынче дороже вина.

— Вы сказали через два дня.

— Сказала.

Она нагнулась, вытащила из-под кормовой скамьи свёрток в промасленной холстине и развернула. Внутри была тет-

радь в клеёнке, тонкая, в две руки, с закладками из тесьмы. Сейра открыла её на середине и придержала страницы ладонью от ветра.

— Как вас звать?

Я сказал.

Она повела пальцем по строкам. Шла медленно, по одному имени, до конца страницы, перевернула, вернулась назад, будто искала в тетради что-то ещё, а не его имя.

— Нет вас, — сказала она.

— Знаю.

— Совсем нет. Ни в одном списке. — Она закрыла тетрадь и завернула её обратно в холстину. — Ну вот и хорошо. Груз не спрашивают, куда идёт. Груз не выходит на палубу и не разговаривает с командой. Груз, если его найдут, — это моя беда, а не его.

— Сколько?

— Нисколько. — Она убрала свёрток под скамью. — За вас заплачено раньше, чем вы наняли меня. Я вас не везу, я возвращаю долг, а долг не торгуется.

— Кто заплатил?

— Сказала же: сами увидите.

Она хотела сказать ещё что-то, но посмотрела мимо меня, на мол, и лицо у неё изменилось. Я обернулся.

По молу шли двое в чёрном, без гербов, и с ними портовый десятник в кожаном колете. У одного в руке был лист, и он показывал его капитанам, стоявшим у бочек, а капитан

читал и мотал головой, и при этом смотрел вдоль мола, по сторонам, а не в лист.

— Вниз, — сказала Сейра тихо. — Сейчас.

Люк был приоткрыт у самой кормы. Я спустился по трапу, и она прикрыла за мной крышку, оставив щель в ладонь.

В трюме пахло солью и мокрым деревом, и вода хлюпала под настилом. Бочки стояли в два ряда, между ними был проход, и в проходе на боку лежала другая бочка, пустая, с выбитым дном. Я сел на неё и стал слушать.

Наверху говорили. Голоса шли глухо, через доски и соль, но я слышал слова, потому что за двадцать три года привык слушать через двери.

— Человек в сером, — говорил десятник. — Плащ инквизиции. Дознаватель. Нам сказано, его взяли на этой неделе в порту.

— В порту каждый день кого-нибудь берут, — отвечала Сейра.

— Он вычеркнут из податной книги.

— Тогда чего вы ищете? Вычеркнутого нет. — Она помолчала. — У меня на борту соль и вино, и всё записано в вашей же книге. Хотите смотреть трюм — смотрите, только отлив начинается, и я с мели не сойду до вечера, а убыток запишу на канцелярию.

Лист просунули под половик, бумага шуршала. Кто-то топнул по палубе над моей головой, так что с бочки посыпалась соль.

— Нет его здесь, — сказал второй голос.

— Пока нет, — сказал десятник.

Они потоптались ещё, потом сходни заскрипели, и голоса ушли на мол. Погодя над люком стукнули дважды: можно.

Я не вышел. Я сидел на пустой бочке, в темноте, и вынул копию.

Развернуть её было неудобно, сургуч цеплялся за кафтан. Я прикрыл лист от щели и стал читать не с начала, а с подписи: «Уплачено двадцать фунтов медью и год с просителя». Шесть строк, чистая рука, печать канцелярии.

А потом я вспомнил остальное.

Ночью в конторе у меня под рукой лежала книга заказов, и я успел прочесть в ней не одну строку. Я привык читать так, как читают дознаватели: не глазами по листу, а сразу в память, целыми столбцами. Я стоял над той книгой, пока наверху храпели, и переворачивал страницы, и теперь, сидя в трюме, стал перебирать их заново, как перебирают чётки.

Хольмский уезд, приходы Сухого Брода. Двадцать фунтов медью и год с просителя.

Ровенская волость, три прихода, той же рукой. Восемнадцать фунтов и год.

Заречье, две церкви. Двенадцать.

Побережье, от устья до Каменного мыса, семь приходов. Двадцать четыре фунта и два года.

Я считал и не мог остановиться. За три года выходило двенадцать заказов, семь уездов, и на каждом стояла одна и та же

подпись, и один и тот же знак канцелярии на сургуче. Столько мёртвых, что одним приходом и одним писцом их не объяснить.

Я вынул из памяти последнюю строку. Она была не про мёртвых. Она была про меня, и её подписали вчера.

Наверху опять стукнули по люку, и на этот раз крышка приподнялась.

— Выходите, — сказала Сейра. — Отходим.

Я поднялся по трапу на палубу. Утро было серое, вода стояла высоко, и посудина уже отвалила от мола; между бортом и сваями прошла полоса чёрной воды. Грузчики на молу смотали канат и смотрели нам вслед. Матросы убирали половик с бочек.

Сейра стояла на корме, у румпеля, и правила одной рукой.

— На север? — спросил я.

— Нет.

— А куда?

— За серой. — Она подняла на меня глаза. — В Пекло.

Я посмотрел на неё и ничего не сказал.

— Не смотрите так. Теперь уже поздно, и выгрузят вас не там, где вы думали. — Она выправила румпель и кивнула на воду впереди. — За проезд платите не вы. За вас заплатили ещё до того, как вы вошли в порт, и платил тот, кому надо, чтобы вы дошли.

Ветер сошёлся с отливом, и посудина пошла ровно, и над гаванью остался дым солеварен, серый, низкий, будто его по-

ложили на черепицу и забыли.

Пепельная дорога

Первый день я провёл в трюме.

Над головой ходили, скрипели снасти, кто-то перекладывал румпель и говорил вполголоса, коротко, как говорят за работой. Вода хлюпала под настилом. Соль лежала на досках серым налётом, и под сапогами скрипело, когда я поворачивался. От бочек пахло сырым деревом и винным камнем.

К полудню я нашёл щель между обшивкой и брусом шириной в два пальца. Через неё был виден край моря и берег: низкий, с бурыми пятнами вереска и белыми от соли камнями у воды. К вечеру берег стал ниже, потом рассыпался на отмели, и за отмелями пошла открытая вода.

К ночи люк поднялся на ладонь, и в проёме показался свет. Сейра спустилась на три ступени, пригнувшись, поставила фонарь на бочку и вынула из-за пазухи кружку и хлеб.

— Ешьте, — сказала она. — И не стучите в люк ночью. Я и так слышу.

Хлеб был чёрствый, с солью на корке. Я съел половину, запил и сказал:

— Кто заплатил за меня?

Она села на бочку напротив, вытянула ноги.

— Я вам сказала на молу.

— Скажите ещё раз.

— Сами увидите.

— Я хочу увидеть сейчас.

— А я хочу, чтобы до Пекла вы сидели тихо и не заставляли меня врать десятнику второй раз. — Она поставила кружку рядом с фонарём. — Желания у нас разные, а посудина одна.

Я подождал. Она не уходила, хотя наверху ходили и её место было у румпеля.

— Сколько я вам должен? — спросил я.

— Ничего.

— Так не бывает.

— Бывает, когда долг на мне, а не на вас. — Она посмотрела на меня. — Меня наняли везти вас целым. Пока вы целы, я чиста перед теми, кто нанял. Сломается что, отвечать мне.

— Кто нанял?

— Тот, кто не назвался.

Я вынул из-за пазухи пломбу, которую она дала мне на крыльце в Соляной Гавани, и положил на ладонь. Свинец был мягкий, тёплый от тела, с одной стороны гладкий, будто его разгладили ногтем.

— Кому её показывать?

— Никому. — Она забрала пломбу, повертела и отдала обратно. — Её показывают мне. Тот, кто спросит, почему я везу человека, которого нет ни в одном списке, получит эту пломбу в ответ.

— На ней ничего нет.

— Есть. — Она постучала по свинцу. — То, что ничего нет. Тот, кто платил, не хотел, чтобы его читали.

— Что в Пекле?

— Сера. — Она встала. — И люди, у которых нет наших бумаг. Вам там будет легче, чем здесь.

— Почему?

— Потому что там никто не спросит вашего имени.

Она поднялась по трапу, и люк закрылся. Я остался один с фонарём и недоеденным хлебом.

Ночью я вышел на палубу.

Наверху было холодно и ясно. Облако закрыло звёзды, но море светилось слабо, и за кормой тянулся след, ровный, будто прочерченный по доске. Шли под парусом, тугим, без хлопков.

Сейра была у румпеля. Она услышала меня и не обернулась.

— Я сказала: не выходить.

— Ночь.

— Я вижу, что ночь.

— На палубе никого.

— Кроме меня.

Я остался стоять у борта. Она не гнала.

Вода шла вдоль борта чёрная и плотная, как смола. На палубе лежали бочки, принайтованные к рымам, и половик, свёрнутый у мачты. Один из матросов спал под ним, положив голову на канат.

— Там правда нет списков? — спросил я.

— Там нет тетрадей. — Она поправила румпель. — Там считают по головам, как скот. Имя у вас вымарано, а голова осталась. Голова им и нужна.

Я потрогал копию за пазухой. Сургуч присох к рубахе, и, когда я отлеплял его, бумага треснула по сгибу. Единственная бумага, которая говорила, что я это я, портилась от пота.

— Её никому не показывайте, — сказала Сейра, не оборачиваясь. — Ни на караване, ни в Пекле. За такую бумагу удавят и не спросят.

— Вы её не видели.

— Я вижу, как вы её держите.

К утру ветер упал. Берег поднялся из тумана скалой, и под скалой стояла закрытая от волны вода, а в этой воде стояли четыре судна.

Я насчитал мачты. Потом людей на палубах: у ближнего судна двое выкатывали по настилу бочки, третий стоял у борта с багром. Мешки под парусиной лежали штабелем, перевязанные верёвкой. Флагов не было ни на одной мачте, и это было заметно: на воде, где каждый кричит о себе гербом, четыре судна молчали.

— Вниз, — сказала она.

Я не двинулся.

— Чьи это?

— Караван. Мы идём не одни. — Она выправила румпель и кивнула на ближнее судно. — Пять посудин, считая нашу.

Старший считает груз по головам, а не по бочкам. Увидит вас, и вы станете у него лишней головой.

Она смотрела на меня, и в её лице не было насмешки.

— Вниз.

Я спустился на две ступени и остановился.

— До Пекла вы не груз, — сказала она сверху. — Вы мой долг. И с этого места вас будут считать все.

Люк закрылся.

К вечеру мы встали в устье, между скалой и отмелью.

Матросы спустили ялик и съехали на берег по двое, с фонарём на носу. С воды было видно, как на песке у самой кромки горит костёр из плавника, а рядом, на связанных бревнах, стоит длинный плот, выложенный досками. К плоту подходили ялики с других судов.

Сейра спустилась в трюм сама и бросила мне под ноги свёрток.

— Надевайте.

В свёртке был кафтан из грубой шерсти, тёмный, с чужого плеча, и шапка. Пахло от них овчиной и дымом.

— На палубе вам нельзя, — сказала она, пока я переодевался. — А на плоту можно. Там сегодня считают людей, и вас посчитают тоже. Лучше сейчас, чем в пепельных водах, когда счёт уже сойдётся.

— Кто считает?

— Старший над караваном. Его зовут Ольбер, и он держит в голове больше, чем иные держат в книге. — Она подожда-

ла, пока я подпояшусь. — И ещё. На плоту вас спросят, чего вы стоите. Отвечайте коротко и не торгуйтесь. Торгуюсь я.

На плоту было тесно от людей. Сидели на бочках и на перевёрнутых ящиках, между коленями стояли кружки, у костра висел котёл, и от него шёл пар с запахом рыбы и лука. Пахло и серой, слабо, будто кто-то прошёл мимо с тлеющей тряпкой.

Ольбер оказался седым, сухим человеком в кожаном колете, с книгой в клеёнке на коленях. Он раскрыл её на доске, придавил ладонью страницы от ветра и вёл по строкам пальцем, длинным и жёлтым от табака.

— Пятая посудина, — сказал он, не поднимая головы. — Соль, вино, шесть рук.

— Пять, — сказала Сейра. — Шестой сошёл в Гавани.

— В моей книге шесть.

— В вашей книге всё, что было в Гавани.

Ольбер поднял глаза. Он смотрел на неё долго, потом на меня, и я увидел, как он считает: плащ, руки, сапоги, шрам.

— Это что?

— Долг.

— Долг не гребец и не груз. Долг — запись, а не человек.

— Человек, — сказала Сейра.

— У него есть имя?

Она не ответила, и Ольбер всё понял раньше, чем она открыла рот.

— Вычеркнутый, — сказал он. — Ты привезла мне вы-

черкнутого.

За другими бочками разговор стих. Капитан, сидевший ближе всех к костру, отставил кружку.

— В пепельных водах считают по головам, — сказал Ольбер. — Драконидыпересчитывают людей на палубе и сверяют со списком, который им подают с берега. У кого нет имени, тот в списке лишний. Лишний в списке — это их товар, а не мой. А потом они спросят, зачем я привёз лишнего, и запишут это на весь караван.

— Он не выйдет на палубу, — сказала Сейра.

— В Пекле выходят все. — Ольбер закрыл книгу ладонью. — Ссади его на берег у Каменного мыса. Там есть кому его взять.

— У Каменного мыса его возьмут люди канцелярии, и заберут с ним всех, кто шёл рядом.

Ольбер помолчал.

— Чего он стоит? — спросил он наконец.

Сейра кивнула мне. Я сказал:

— Двенадцать заказов на чистку списков за три года. Семь уездов. На всех одна подпись и один знак канцелярии на сургуче. Хольмский уезд, Ровенская волость, Заречье, Побережье от устья до Каменного мыса. Последняя строка в книге заказов — про меня, и её скрепили до того, как я взялся за дело.

У костра кто-то крякнул. Ольбер смотрел на меня поверх книги.

— Это ты прочёл или тебе сказали?

— Прочёл.

— Строку помнишь?

— Помню.

Я сказал ему строку, слово в слово, с датой и подписью. Он слушал, склонив голову набок, как слушают человека, который поёт на чужом языке, и в конце кивнул.

— Подпись одна, — сказал старик у костра.

Все обернулись. Старик был худой, с обветренным лицом и медной бляхой на ремне через плечо.

— Маттис, тебя не спрашивают, — сказал Ольбер, не глядя на него, и снова повернулся к нам. — Он двадцать лет водит суда по отмелям. Раньше водил. Теперь сидит у костра и говорит в воздух.

— Он правду сказал, — проговорил старик, уже тише.

Никто ему не ответил.

Ольбер думал недолго.

— Сведения стоят денег, — сказал он. — Но деньги мне принесут в Гавани, а голову потеряю здесь. За сведения я беру его на борт и ставлю в своей книге пятерых. — Он поднял палец. — Имени в бумагах не будет. Сойдёт кто-нибудь на берег, не сойдёт, я не считаю. Вычеркнутого на моей посудине нет.

— В бумагах нет, — сказала Сейра. — Зато есть мой долг. И за него отвечаю я.

Ольбер посмотрел на неё, потом на меня и записал что-то

в книгу, коротко, одним движением.

— Отвечаешь, — сказал он.

Капитаны стали расходиться. Люди поднимались с бочек, кто-то нёс котёл к воде, кто-то катил по доскам бочонок. Я отошёл к краю плота и увидел, что старик стоит рядом.

Он взял с бочки пустую кружку и протянул её мальчишке с бочонком. Тот налил. Воды в кружке было на два пальца. Старик поднёс её ко рту, подержал и поставил на доски, не выпив.

— Всем по кружке, а мне что осталось, — сказал он спокойно. — Я его не виню, он не помнит, что наливал.

— Как вас звать? — спросил я.

Он снял с ремня бляху и подал мне. Буквы на меди были стёрты не от времени: по ним прошлись чем-то острым и потом загладили, и остались только ямки на месте имени.

— Маттис, — сказал он. — Я ещё помню.

Я вернул ему бляху.

— Пока помните, говорите громче, — сказал Маттис и посмотрел на меня. — Я тоже говорил.

Он смотрел долго, как смотрят на себя через десять лет, потом повернулся и пошёл к костру, и по дороге его обошёл мальчишка с бочонком и не посторонился, потому что не заметил.

На другой день к полудню пошёл пепел.

Сначала его приняли за дождь: по палубе застучало часто и сухо. Потом на бочках и на свёрнутом половике лёг серый

налёт, и матрос, который тёр палубу, выругался и показал рукой вперёд.

Берег стоял низко, чёрный, без скал, и на нём ничего не росло. За песком поднимались холмы цвета золы, и над одним из них висел дым, прямой и неподвижный. Воздух стал сухой, и в нём появился вкус, от которого першило в горле.

Караван шёл к берегу в кильватер, один за другим. Я был в трюме и смотрел в щель, пока не увидел, как переднее судно убирает парус. Потом и наше стало, цепь пошла, звено за звеном, и по палубе забегали.

Я ждал. Через полчаса люк приподнялся.

— Выходите, — сказала Сейра. — И стойте за мачтой, за половиком. Пока не позову, вас нет.

На берегу, у самой воды, лежали мешки с серой, сложенные в длинные штабели, и рядом стояли дракониды. Я насчитал семерых. Ростом они были выше наших на голову и шире в плечах; кожа на лицах сухая, в мелких трещинах, и когда один из них повернулся, я увидел, что глаза у него жёлтые, без белка. Пахло от них горячим металлом.

Матросы спустили сходни. Ольбер сошёл первым, с книгой под мышкой.

Дракониды не подошли к мешкам. Двое встали у штабеля и не двинулись с места, а остальные пошли вдоль бортов и стали считать.

Один поднялся к нам. Палуба под ним прогнулась. Он шёл медленно, тыча пальцем в каждого: в матроса у мачты, в дру-

гого у борта, в третьего, что сидел на бочке, в мальчишку с бочонком, в Сейру у румпеля.

— Пять, — сказал он.

— Пять, — сказал Ольбер снизу. — В списке пять.

Драконид посмотрел на Маттиса, который стоял у шпиля, держась за него рукой.

— Шесть.

— Лоцман. Он идёт с караваном, в моей книге не записан. — Ольбер раскрыл книгу и поднял её так, чтобы было видно. — Вот пять.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.